

Как творец Борхес занимает место  
Данте и Шекспира, Сервантеса и Джойса  
нашей эпохи.

Гарольд Блум

# ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

## Алеф

PREMIUM



Азбука Premium

Хорхе Борхес

**Алеф**

«Азбука-Аттикус»

1995

УДК 821.134.2(8)  
ББК 84(7Арг)-44

**Борхес Х. Л.**

Алеф / Х. Л. Борхес — «Азбука-Аттикус», 1995 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-20641-0

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого. В настоящее издание полностью вошел авторский сборник «Алеф», собрание вымышленных историй, которое принесло аргентинскому писателю мировую известность. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.134.2(8)  
ББК 84(7Арг)-44

ISBN 978-5-389-20641-0

© Борхес Х. Л., 1995  
© Азбука-Аттикус, 1995

## Содержание

Бессмертный[1]	6
Мертвый[34]	16
Богословы[36]	19
История воина и пленницы[72]	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Хорхе Луис Борхес

## Алеф

### Азбука PREMIUM

Серия «Азбука Premium»

Jorge Luis Borges

EL ALEPH

Copyright © 1995, María Kodama

All rights reserved

Перевод с испанского Бориса Дубина, Кирилла Корконосенко, Валентины Кулагин-ной-Ярцевой, Евгении Лысенко, Владимира Правосудова, Абрама Рейтблата, Людмилы Синянской, Юрия Стефанова

Серийное оформление и оформление обложки Вадима Пожидаева

© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2021

© К. С. Корконосенко, перевод, 2021

© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2000

© Е. М. Лысенко (наследник), перевод, 2021

© В. В. Правосудов, перевод, 2000

© А. И. Рейтблат, перевод, 1992

© Л. П. Синянская (наследники), перевод, 2021

© Ю. Н. Стефанов (наследники), перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

## Бессмертный<sup>1</sup> Перевод Л. Синянской

Сесилии Инхеньерос<sup>2</sup>

*Solomon saith: «There is no new thing upon the earth». So that as Plato had an imagination, «that all knowledge was but remembrance»; so Solomon giveth his sentence, «that all novelty is but oblivion».*

*Francis Bacon. Essays, LVIII<sup>3</sup>*

В Лондоне, в июне 1929 года, антиквар Жозеф Картафил<sup>4</sup> из Смирны<sup>5</sup> предложил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715–1720) форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица. Столь же легко, сколь и неправильно, он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он перешел на французский, потом – на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него – на португальский язык Макао. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса», что Картафил умер во время плаванья, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод.

### I

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Стовратых Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Беренике<sup>6</sup>, у самого Красного моря; многие из тех, кто горел желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены; земли, ранее занятые мятежными городами, навечно стали владением Плутона; и тщетно поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии; меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы, я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня, не дал удачи, и я, должно быть, с горя отправился через страшные безбрежные пустыни на поиски потаенного Города Бессмертных.

---

<sup>1</sup> Первоначальное заглавие – «Бессмертные». (прим. Б. Дубин)

<sup>2</sup> Сесилия Инхеньерос – знакомая Борхеса, дочь аргентинского мыслителя и публициста Хосе Инхеньероса и сестра Делии Инхеньерос, соавтора Борхеса по книге «Древние германские литературы» (1951); она подсказала писателю сюжет рассказа «Эмма Цунц» (см. ниже). (прим. Б. Дубин)

<sup>3</sup> Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домислил: «Всякое знание есть не что иное, как воспоминание»; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое. – Фрэнсис Бэкон. *Опыты, LVIII* (англ.).

<sup>4</sup> Картафил (Эспера-Диос, Иоанн Бутадеус и др.) – одно из имен Агасфера, Вечного Жида, героя легенд европейского Средневековья («Хроника» Матвея Парижского и др.). По сообщениям середины XIII в., он покаялся в том, что некогда отринул Христа, и принял имя Иосиф. Истории о нем упоминает Томас Браун («Pseudodoxia epidemica», VII, 17, 5), их сводят воедино А. Ярмолинский (книга «Легенда о Вечном Жиде») и Г. Аполлинер (новелла «Пражский прохожий»). (прим. Б. Дубин)

<sup>5</sup> Смирна, Иос – места, претендовавшие на право считаться родиной Гомера. (прим. Б. Дубин)

<sup>6</sup> Береника – торговый город на побережье Красного моря. (прим. Б. Дубин)

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал – всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся; рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река эта – Египет и питается она дождями. «Другую реку ищу я, – печально отозвался он, – потаенную реку, что смывает с людей смерть». Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго; кто-то – вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Гетулии<sup>7</sup>, дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиное<sup>8</sup> и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов<sup>9</sup>, которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну гармантов, у которых женщины общие, а пища – льяятина; земли Авгилы, где почитают только Таргар. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану, на ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь – отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обратив лицо к луне, – лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей в сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя – бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечье. Несколько дней я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жадой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ошетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый невысокий лабиринт: в самом его центре стоял кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.

<sup>7</sup> Гетулия – область на северо-западе Африки. (прим. Б. Дубин)

<sup>8</sup> Арсиное – египетский город в Файюме. (прим. Б. Дубин)

<sup>9</sup> Троглодиты – древний народ Северной Африки (о нем рассказывают Страбон, Геродот, Плиний); Авгилы (Авгила) – местность и селение на севере Африки. (прим. Б. Дубин)

## II

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише размерами не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукой человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка, а на другом его берегу в лучах заходящего или восходящего солнца сверкал – то было совершенно очевидно – Город Бессмертных. Я увидел стены, арки, фронтоны и площади: Город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их: они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футах в тридцати от меня, и я со связанными за спиною руками, зажмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: *«Богатые жители Зелы<sup>10</sup>, пьющие воды Эзена...»*

Не знаю, сколько ночей и дней прокатилось надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и нагой<sup>11</sup>, лежал я на неведомом песчаном берегу, не сопротивляясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные, как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть – это я-то, Марк Фламиний Руф, военный трибун римского легиона, – свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчеловеков почти лишило меня сна. И, будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали: сперва я заметил, что они следят за мной; потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос – не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх, а отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными острями. И остановился в священном ужасе. Явившийся мне Город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день.

<sup>10</sup> *«Богатые жители Зелы...»* – Гомер, «Илиада», II, 824–825; Зела (Зелия) – город в Малой Азии. (прим. Б. Дубин)

<sup>11</sup> *...несчастный и нагой...* – Отсылка к вергилиевской «Энеиде» (V, 871). (прим. Б. Дубин)



Я уже говорил, что Город стоял на огромной каменной скале<sup>12</sup>. И ее круглые склоны были так же неприступны, как и стены Города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере; внутри пещеры оказался колодец, в темень его пропасти низвергалась лестница. Я спустился по ней; пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении; в потемках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье; восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье; девятая через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов, – от тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося; беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему, я начал свыкаться с этим странным миром и не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверьми и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только: был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую – о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей.

В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издали упал на меня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и астрагалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное величие из гранита и мрамора. И оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние Города.

Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно-единственное здание неправильной формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой Земли. И подумалось, что такая старина (хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз) не иначе как дело рук Бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путаного двора. (Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости.) *Этот дворец – творение богов, подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился: боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он необычен, сказал: построившие его боги были безумны.* И сказал – это я твердо знаю – с непонятным осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые: ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый Город Бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осмотрел как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры-тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монумент-

<sup>12</sup> ...Город стоял на огромной каменной скале. – Описание, несущее отпечаток визионерских гравюр Пиранези и опиумных видений Де Куинси и Колриджа, сходно с обстановкой борхесовских новелл «Смерть и компас» и «Дом Астерия». (прим. Б. Дубин)

тальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал; помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. *Этот Город, подумал я, ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познаёт счастья и смысла существования.* Я не хочу открывать этот Город; хаос разноязыких слов, тигриная или воловья туша, кишащая чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками, – вот что такое этот Город.

Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх: как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном Городе Бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле – так, наверное, тяжело было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда.

### III

Те, кто внимательно читал рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые сняты во сне, и кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмены, а потом понял: нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивела игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение (а может, так велико и страшно было мое одиночество), и я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило, и, когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди; этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я, способны на первое; многие птицы, к примеру соловей цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум человека, он все же превышает способности существ неразумных.

Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из «Одиссеи», и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя. Но, как ни старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно – и принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось – очень далеко. Словно маленький разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предраассветных сумерек к вечерним. Я был уверен: не может он не понимать моих намерений. И вспомнил: эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам; и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе и с другими предметами; и может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных

форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними – годы, и однажды утром произошло нечто похожее на счастье. Пошел дождь, неторопливый и сильный.

Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой, как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии ко мне текла река (водам которой я некогда возвратил золотую рыбку), текла, чтобы освободить меня; лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается; я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу; под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, исступленно подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы, на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив взор в небеса; потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но (как я потом узнал) и слезы. *Аргус*, крикнул я ему, *Аргус*.

И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и забытое, Аргус сложил такие слова: *Аргус, пес Улисса*. И затем, все так же не глядя на меня: *пес, выброшенный на свалку*.

Мы легко принимаем действительность, может быть, потому, что интуитивно чувствуем: ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из «Одиссеи». Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос.

*Очень мало, ответил он. Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил.*

#### IV

Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались Бессмертными; мутный песчаный поток – той самой рекой, что искал всадник. А Город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли Бессмертные; после него начался новый этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, Бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем – ушли в пещеры. А там, погружившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир.

Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей<sup>13</sup>, что не знают моря, не приправляют мясо солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в Городе Бессмертных. А когда Город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного: всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем – войну мышей и лягушек<sup>14</sup>. Подобно Богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом Хаос.

Жизнь Бессмертного пуста; кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя Бессмертным – божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то, как они почитают свое первое, земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные, предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми рели-

<sup>13</sup> ...движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей... – Гомер, «Одиссея», XI, 120–130. (прим. Б. Дубин)

<sup>14</sup> ...войну мышей и лягушек. – Сюжет «Батрахомиахии», ирони-комической поэмы, приписываемой Гомеру. (прим. Б. Дубин)

гиями Индостана; круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующей и ни одна из них не определяет целого... Наученная опытом веков, республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благость, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравниваются, талант и бездарность у Бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга; и может статься, безыскусно сложенная «Песнь о моем Сиде» – необходимый противовес для одного-единственного эпитета из «Эклог»<sup>15</sup> или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, начинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие... А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они совершенно никакие. А значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних просторах времен, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь никто, и каждый Бессмертный – сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа<sup>16</sup>: я – бог, я – герой, я – философ, я – демон, я – весь мир, на деле же это утомительный способ сказать, что меня как такового нет.

Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на Бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни по ту сторону реки; один из Бессмертных свалился в самую глубокую; он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его; однако прошло семьдесят лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкой из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро – древнее, простейшее наслаждение: дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки; все Бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие; один, помню, никогда не поднимался даже на ноги: птица свила гнездо у него на груди.

Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравнивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность, однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце X века мы расселились по лицу земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем: *есть река, чьи воды дают бессмертие; а следовательно, есть на земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают*. Число рек на земле не безгранично; Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведает воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку.

Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность – невозвратимую и роковую. У Бессмертных же, напротив, всякий поступок (и всякая мысль) – лишь отголосок других, которые уже случались в затерянном далеке прошлого, или точное предвещие

<sup>15</sup> «Эклоги» – «Буколики» Вергилия. (прим. Б. Дубин)

<sup>16</sup> Корнелий Агриппа Нептесхеймский (1486–1535) – немецкий мыслитель и естествоиспытатель. Борхес приводит слова из его труда «О ложности и тщете наук» (1531), которые цитировал в раннем эссе «О никчемности личного» (сб. «Расследования», 1925). (прим. Б. Дубин)



тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященная обычаями скорби не властны над Бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера; кажется, мы даже не простились.

## V

И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту<sup>17</sup>, не помню, на чьей стороне – не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли<sup>18</sup>. В седьмом веке Хиджры, по мусульманскому летосчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю Бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворе, я много играл в шахматы. В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре<sup>19</sup>, потом – в Лейпциге. В Абердине в 1714 году я выписал «Илиаду» Попа в шести томах; помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729-м мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбаттиста<sup>20</sup>; его доводы показались мне неопровержимыми. Четвертого октября 1921 года «Патна»<sup>21</sup>, который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у эритрейского побережья<sup>22</sup>. Я сошел на берег, мне вспомнились другие утра, утра давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей; повинувшись привычке, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом: капля крови медленно выступала на ладони. Я снова смертен, повторял я, снова похож на других людей. В ту ночь я спал до самого рассвета.

Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда, однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почудилась фальшь. Возможно, виною тому – злоупотребление подробностями; такое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память... Однако полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером.

*История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми.* В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены Фив; Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки – Египет; ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в «Илиаде» называет Фивы Гекатомфилосом, а в «Одиссее», устами Протея и Улисса, неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески; слова эти – также из Гомера, их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем, в головолом-

<sup>17</sup> ...я сражался на Стэмфордском мосту... – Имеется в виду Стэмфордбридж близ Йорка, место гибели норвежского короля и скальда Харальда Хардрада. (прим. Б. Дубин)

<sup>18</sup> ...шесть... футов английской земли... – Слегка измененная цитата из «Круга Земного» Снорри Стурлусона («Сага о Харальде Суровом», 91); Т. Карлейль приводит ее в своей книге «Первые короли норвежцев», а Борхес не раз повторяет в стихах и прозе. (прим. Б. Дубин)

<sup>19</sup> Коложвар – город в Венгрии, ныне Клуж (Румыния). (прим. Б. Дубин)

<sup>20</sup> Джамбаттиста – имеется в виду итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико. (прим. Б. Дубин)

<sup>21</sup> «Патна» – название судна в романе Джозефа Конрада «Лорд Джим» (1900). (прим. Б. Дубин)

<sup>22</sup> В рукописи здесь вымарка, возможно, вычеркнуто название порта.

ном дворце, он говорит об осуждении, чуть ли не о «терзаниях совести»; эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня обеспокоили; другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе; там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествия Синдбада-морехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду» Попа. Там говорится *inter alia*<sup>23</sup>: «В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии». Ни одно из этих свидетельств не ложно; однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них; я это сделал, потому что знал: они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера; удивительно, что Гомер в тринадцатом веке записывает приключения Синдбада, другого Улисса, и находит, по прошествии многих столетий, в северном царстве, где говорят на варварском языке, то, что изложено в его «Илиаде». Что касается фразы, содержащей название Биканер, то видно, что она сложена человеком, искушенным в литературе, жаждущим (как и автор перечня морских судов) блеснуть ярким словом<sup>24</sup>.

Когда близится конец, от воспоминания не остается образа, остаются только слова<sup>25</sup>. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану всеми людьми – умру.

*Постскриптум 1950 года.* Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библиейски озаглавлен «A Coat of Many Colours»<sup>26</sup>, <sup>27</sup> (Манчестер, 1948) и написан ядовитым пером доктора Наума Кордово. Труд насчитывает около ста страниц. И в нем говорится о центонах<sup>28</sup> из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни; поминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки, сочинение «*Virgilius evangelizans*»<sup>29</sup> Александра Росса<sup>30</sup>, приемы Джорджа Мура и Элиота и, наконец, «повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картафилу». В первой же его главе автор обнаруживает заимствования из Плиния («*Historia naturalis*», V, 8); во второй – из Томаса Де Куинси<sup>31</sup> («*Writings*», III, 439); в третьей – из письма

<sup>23</sup> Между прочим (*лат.*).

<sup>24</sup> Эрнесто Сабато предполагает, что Джамбаттиста, обсуждавший происхождение «Илиады» с антикваром Картафилом, есть Джамбаттиста Вико; этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер – персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу. Эрнесто Сабато (р. 1911) – аргентинский писатель, эссеист, многолетний собеседник и оппонент Борхеса (их «Диалоги» вышли книгой в 1976 г.). (прим. Б. Дубин)

<sup>25</sup> ...остаются только слова. – Скрытая цитата из предисловия Джозефа Конрада к его роману «Негр с „Нарцисса“». (прим. Б. Дубин)

<sup>26</sup> Здесь: «Лоскутное покрывало» (*англ.*).

<sup>27</sup> «A Coat of Many Colours» – так в английской традиции со времен Библии короля Якова (1611) называется пестрая рубаша («кетонет»), которую Иаков дарит своему любимцу Иосифу и которую с него срывают задумавшие его погубить братья (Быт 37: 23). (прим. Б. Дубин)

<sup>28</sup> Центон (от *лат.* cento – одеяние из лоскутов) – стихотворение, сложенное из чужих строк; в античности материалом для центонов чаще всего служили произведения Гомера и Вергилия. Близок к этому жанр средневековых сборников «Строматы», из которых наиболее известна широко цитируемая Борхесом одноименная книга Климента Александрийского. (прим. Б. Дубин)

<sup>29</sup> «Вергилий на евангельский лад» (*лат.*).

<sup>30</sup> Александр Росс (1591–1654) – английский поэт-аллегорик, перелagатель Вергилия на христианский лад; его упомянутая поэма вышла в 1634 г. (прим. Б. Дубин)

<sup>31</sup> ...из Томаса Де Куинси... – Имеется в виду его эссе «Гомер и гомериды». (прим. Б. Дубин)

Декарта послу Пьеру Шаню; в четвертой – из Бернарда Шоу («Back to Methuselah»<sup>32</sup>, V<sup>33</sup>). И на основании этих заимствований, или краж, делает вывод: весь документ не что иное, как апокриф.

На мой взгляд, вывод этот неприемлем. Когда близится конец, пишет Картафил, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова, – вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками.

---

<sup>32</sup> «Назад к Мафусаилу» (англ.).

<sup>33</sup> «Back to Methuselah» (1918–1920) – драматическая притча Б. Шоу, развивающая его понимание мировой истории. (прим. Б. Дубин)

## Мертвый<sup>34</sup>

### Перевод К. Корконосенко

Чтобы парень из предместья Буэнос-Айреса, жалкий бахвал, не обладающий иными достоинствами, помимо спесивого сердца, добрался до пустынных пастбищ у границы с Бразилией и сделался главарем контрабандистов – такое кажется заведомо невозможным. Тем, кто так полагает, я хочу поведать о судьбе Бенхамина Оталоры, от которого, наверное, не осталось даже воспоминаний в квартале Бальванера и который, иначе и быть не могло, умер от пули на границе Риу-Гранди-ду-Сул. Подробностей его истории я не знаю; когда мне их откроют, я обязательно исправлю и дополню эти страницы. А пока что согонится и короткий пересказ.

В 1891 году Бенхамину Оталоре исполнилось девятнадцать лет. Это молодец с маленьким лбом, честными светлыми глазами и с басконским упрямством; один удачный ножевой выпад открыл Оталоре, что он человек отважный; его не тревожит гибель противника, как не тревожит и необходимость бежать из страны. Знакомый бандит снабжает его письмом к некоему Асеведо Бандейре<sup>35</sup> из Уругвая. Оталора прыгает в лодку, вокруг ночь, бушуют волны и гремит гром; на следующий день он гуляет по улицам Монтевидео в невыразимой печали, которая, наверное, непонятна и ему самому. Асеведо Бандейра ему не встретился; в одной из лавок на Пасо-дель-Молино парень становится свидетелем перепалки между погонщиками. Сверкает нож; Оталора не знает, на чьей стороне правда, но его влечет сам вкус опасности, как иных влекут карты или музыка. В общей сумятице парень на лету перехватывает удар, который один из погонщиков предназначал человеку в пончо и темной шляпе. Потом оказывается, что это и есть Асеведо Бандейра. (Узнав об этом, Оталора рвет письмо-поручительство, поскольку хочет быть обязанным только самому себе.) Асеведо Бандейра крепок телом, но как бы немножко горбится; в его лице, которое всегда повернуто в сторону собеседника, кажется, соединились еврей, негр и индеец; в его повадках – обезьяна и тигр; облик его дополняется шрамом через все лицо и черной щеткой усов.

Под влиянием – или по вине – выпитого стычка прекращается так же внезапно, как и началась. Оталора пьет с погонщиками, потом отправляется вместе с ними на гулянку, потом, уже на рассвете, в какой-то большой дом в Старом городе. На заднем дворе мужчины скидывают пояса и ложатся спать на голой земле. Оталора безотчетно сравнивает эту ночь со вчерашней; теперь он на твердой земле, среди друзей. По правде сказать, парня тревожат кое-какие угрызения: он совсем не тоскует по Буэнос-Айресу. Спит он долго и крепко, но его будит тот самый крестьянин, который спяну метил ножом в Бандейру. (Оталора вспоминает, что этот человек наравне с остальными участвовал в бурной праздничной ночи и что Бандейра посадил его справа от себя и велел пить сколько влезет.) Крестьянин говорит Оталоре, что хозяин велел его привести. Оталора проходит через переднюю с боковыми дверями (он никогда еще такого не видел) и попадает в нечто вроде кабинета, где его ждет Асеведо Бандейра; рядом с ним – светлокожая рыжеволосая женщина, вид у нее надменный. Бандейра тепло принимает гостя, угощает рюмкой каньи, повторяет, что считает Оталору человеком решительным, и предлагает ему вместе с остальными отправиться на север перегонять табун. Оталора соглашается; утро они встречают уже в пути, они едут в сторону Такуарембó.

---

<sup>34</sup> Борхес указывал, что на образ протагониста – анаграмму его фамилии можно найти у героя рассказа «Ульрика» (сб. «Книга песка», 1975) – повлияли роман Г. К. Честертона «Человек, который был Четвергом» и эпизод из «Упадка и разрушения...» Э. Гиббона (XXIX). В 1975 г. по новелле снят фильм аргентинского режиссера Эктора Оливеры. (прим. Б. Дубин)

<sup>35</sup> Асеведо Бандейра – соединены фамилии матери и деда Борхеса. (прим. Б. Дубин)



Так начинается для Оталора другая жизнь – с безбрежными рассветами и с днями, пропитанными конским потом. Такая жизнь для него в новинку и порою тяжела, но она у парня в крови: подобно тому, как другие народы ценят море и всегда к нему стремятся, так мы (не исключая и человека, выводящего эти письмена) мечтаем о бескрайней равнине, звенящей под подковами наших коней. Оталора вырос в квартале возчиков и мясников; не проходит и года, как он становится гаучо. Он учится скакать верхом, гуртовать табуны, забивать скот, метать лассо, которое обхватывает шею, и болас, который валит с ног, учится не поддаваться сну и порывам ветра, холоду и зною, поворачивать табун свистом и криком. Только однажды за время своего ученичества он видит Асеведо Бандейру, но его присутствие Оталора ощущает всечасно, потому что быть человеком Бандейры – значит пробуждать в других почтение и страх, а еще потому, что о любом удалце другие гаучо скажут: «Бандейра делает это лучше». Поговаривают, что Бандейра родился по ту сторону реки Куарейм, в Риу-Гранди-ду-Сул, и это обстоятельство, в общем-то позорное для гаучо, непостижимым образом его обогащает: с ним и буйство сельвы, и непроходимые болота, и просторы, которым не видно конца. Постепенно Оталора понимает, что занятия Бандейры очень разнообразны, но главное из них – это контрабанда. Быть погонщиком значит быть слугой; Оталора намерен возвыситься до контрабандиста. Однажды вечером двум его товарищам предстояло пересечь границу и вернуться с партией каньи; Оталора подстраивает ссору с одним из них, ранит товарища и отправляется вместо него. Им движет тщеславие и вместе с тем смутное понятие о верности. «Пусть этот человек (думает Оталора) наконец-то поймет, что я стою больше, чем все эти дикари, вместе взятые».

Проходит еще год, и Оталора возвращается в Монтевидео. Они едут по берегу Ла-Платы, затем по городу (город кажется Оталоре просто огромным) и наконец добираются до хозяйского дома; люди расседлывают коней на заднем дворе. Проходят дни, а Оталора так и не видит Бандейру. Люди робко шепчутся, что хозяин болен; в спальню к нему поднимается только негр с чайником для заварки мате. Однажды вечером это дело поручают Оталоре. Выглядит немного унижительно, но в глубине души он доволен.

В спальне хозяина – беспорядок и полумрак. Балкон смотрит на закат, на длинном столе поблескивают пояса, кнуты, револьверы и ножи, в зеркале на дальней стене видна тусклая луна. Бандейра лежит на спине; он постанывает в полудреме; фигура его четко очерчена последней вспышкой солнца. На широкой белой постели он выглядит маленьким и потемневшим; Оталора подмечает седину, усталость, измождение и борозды прожитых лет. Его возмущает, что ими командует этот старик. Он понимает, что хватило бы одного удара, чтобы свести все счеты. Но успевает заметить отражение в зеркале. В комнату входит та самая рыжеволосая женщина, полуодетая и босиком; она смотрит на Оталору с холодным любопытством. Бандейра приподнимается на постели; пока он рассуждает о делах и жадно прихлебывает мате, его пальцы играют с рыжими прядями. Наконец он разрешает Оталоре удалиться.

Через несколько дней поступает приказ всем отправляться на север. Гаучо добираются до затерянного ранчо – там все такое же, как и везде на этой бесконечной равнине. Ни деревьев, ни ручейка для услады взора, а солнце жарит с первого луча до последнего. К дому пристроены каменные корали, у скотины длинные рога и запавшие бока. Это невеселое местечко прозывается «Вздохи».

Оталора слышит разговор погонщиков: скоро из Монтевидео приедет Бандейра. Он спрашивает зачем – кто-то отвечает, что объявился чужак, который прикидывается гаучо и слишком охоч до власти. Оталора понимает, что это шутка, но ему лестно сознавать, что такая шутка уже возможна. Позже он узнаёт, что Бандейра свел дружбу с кем-то из важных политиков, а после тот отказался поддерживать Бандейру. Эта новость ему нравится.

Прибывают ящики с винтовками; прибывают кувшин и серебряный таз для спальни женщины; прибывают шторы из узорчатого дамаста; однажды утром из-за холмов приезжает угрюмый всадник в пончо и с густой бородой. Всадника зовут Ульпиано Суарес – он *капанга*, то

есть телохранитель Асеведо Бандейры. Он почти не раскрывает рта, а выговор у него бразильский. Оталора не знает, чем объяснить его сдержанность: враждебностью, презрением или просто-напросто дикостью. Зато он точно знает, что во исполнение своего тайного плана должен завоевать дружбу этого человека.

А потом в судьбу Бенхамина Оталоры въезжает каурый жеребец с черным хвостом – он приносит с юга Асеведо Бандейру, у него наборная сбруя, а чепрак оторочен тигриной шкурой. Этот статный жеребец – символ власти хозяина, поэтому Оталора мечтает его заполучить, а еще в нем крепнет злое вожеление к женщине с огненными волосами. Женщина, сбруя и жеребец – вот атрибуты, важнейшие составляющие того человека, которого он стремится уничтожить.

С этого места история делается сложнее и глубже. Асеведо Бандейра ловчее всех умеет мало-помалу запутать человека, он бесовски хитер в искусстве постепенного унижения, сочетая правду с побасенкой; Оталора принимает решение использовать этот двуострый метод для достижения своей непростой цели. Он намерен незаметно заменить собой Асеведо Бандейру. Встречая опасность плечом к плечу, он добивается дружбы Суареса. И открывает ему свой план; Суарес обещает свою помощь.

Потом происходит еще много чего, но я скажу лишь о немногом. Оталора перестает подчиняться Бандейре: он то забывает, то подправляет, то извращает его приказы. Само мироздание, кажется, участвует в его заговоре, ускоряя ход событий. Однажды в долине под Такуарембо завязывается перестрелка с людьми из Риу-Гранди; Оталора принимает командование на себя, заняв место Бандейры. Пуля прошивает ему плечо, но в тот вечер Оталора возвращается на ранчо «Вздохи» на кауром жеребце хозяина, капли его крови пятнают тигриную шкуру, и в ту же ночь он спит с огневолосой женщиной. В других версиях этого рассказа порядок событий иной; некоторые отрицают, что все случилось в один день.

И все-таки, номинально, Бандейра до сих пор считается хозяином. Он отдает приказы, которые не исполняются; Бенхамин Оталора его не трогает – отчасти по привычке, отчасти из жалости.

Последняя сцена этой истории происходит в последнюю разгульную ночь 1894 года. Люди с ранчо «Вздохи» едят зарезанного накануне барашка и пьют забористое пойло; кто-то без конца наигрывает на гитаре сложную милонгу. Во главе стола захмелевший Оталора громоздит здравицу на здравицу и бахвальство на бахвальство; эта шаткая башня – символ неизбежности его судьбы. Бандейра, молчаливый среди кричащих, позволяет этой лихой ночи течь своим чередом. Когда замолкает двенадцатый удар колокола, Бандейра встает с места как человек, вспомнивший о своем обязательстве. Он выходит из-за стола и негромко стучится в дверь женщины. Рыжая открывает сразу же, как будто бы ждала сигнала. Она стоит на пороге, полуодетая и босиком. Бандейра приказывает ей нежным, почти жеманным голосом:

– Раз уж вы с этим портеньо так любите друг друга, ты прямо сейчас поцелуешь его на виду у всех.

От этих слов становится жутко. Женщина упирается, но двое гаучо хватают ее за руки и швыряют к Оталоре. Заливаясь слезами, она целует его грудь и лицо. Ульпиано Суарес уже держит наготове револьвер. Оталора перед смертью осознает, что его предали с самого начала, что он был заранее приговорен, что ему позволили и любовь, и власть, и славу, потому что уже считали мертвым, потому что для Бандейры он был уже мертв.

Суарес, почти с презрением, спускает курок.

## Богословы<sup>36</sup>

### Перевод Е. Лысенко

Разорив сад, осквернив чаши и алтари, гунны верхом на лошадях<sup>37</sup> ринулись в монастырскую библиотеку, изорвали в клочья непонятные для них книги и с бранью сожгли их, видимо опасаясь, что в буквах таятся оскорбления их богу, кривой железной сабле. Сгорели палимпсесты и кодексы, но внутри костра среди пепла осталась почти невредима двенадцатая книга «Civitas Dei»<sup>38, 39</sup>, где повествуется, что Платон в Афинах учил, будто в конце веков все возродится в прежнем своем виде и он будет здесь, в Афинах, перед той же аудиторией снова проповедовать это же учение. К пощаженному огнем тексту относились с особым пиететом, и те, кто его читал и перечитывал в отдаленной этой провинции, и думать забыли о том, что автор упомянул это учение, лишь чтобы более основательно его опровергнуть. Век спустя Аврелиан, коадьютор Аквилеи, узнал, что на берегах Дуная недавно возникшая секта монотонов (называвшихся также «ануляры») исповедует веру в то, что история – круг и нет ничего, что не существовало бы прежде и не будет существовать в будущем. В горных областях Колесо и Змея<sup>40</sup> вытеснили Крест. Страх овладел всеми, но утешением послужил слух, что Иоанн Паннонский, снискавший известность трактатом о седьмом атрибуте Бога, готовится сокрушить мерзостную ересь.

Аврелиана эти вести огорчили, особенно последняя. Он знал, что в богословских материях любое новое слово сопряжено с риском, но затем рассудил, что тезис о круговом времени слишком необычен, слишком удивителен и посему риск тут невелик. (Опасаться надо тех ересей, которые можно спутать с ортодоксией.) Все же ему было неприятно вмешательство – почти наглое – Иоанна Паннонского. Двумя годами раньше сей муж в пространном сочинении «De septima affectione Dei sive de aeternitate»<sup>41</sup> узурпировал тему из области Аврелиана; теперь же, словно проблема времени была в его ведении, он собирался наставить на путь истинный – возможно, аргументами Прокруста, противоядиями пострашнее, чем сам яд Змеи, – этих ануляров... В ту ночь Аврелиан, листая древний диалог Плутарха об упадке оракулов<sup>42</sup>, обнаружил в двадцать девятом параграфе насмешку над стоиками, предполагавшими существование бесконечного множества миров с бесчисленными солнцами, лунами, Аполлонами, Дианами и Посейдонами. Свою находку Аврелиан счел счастливым предзнаменованием: он решил опередить Иоанна Паннонского и сокрушить еретиков, чтящих Колесо.

Иногда мужчина добивается любви женщины, чтобы забыть о ней, чтобы больше о ней не думать; так и Аврелиану хотелось превзойти Иоанна Паннонского, чтобы избавиться от неприязни, которую испытывал к нему, но отнюдь не для того, чтобы причинить ему зло. Сама работа над сочинением, построение силлогизмов и придумывание едких выпадов, все

<sup>36</sup> Кроме мотивов Леона Блуа, на которые указывает сам Борхес, исследователи (Мерседес Бланко) дешифруют в новелле скрытую фигуру Ницше и полемику с его учением о циклах. (прим. Б. Дубин)

<sup>37</sup> ...гунны верхом на лошадях... – Взятие Аквилеи, столицы Венеции, гуннами под предводительством Атиллы (451) описывает Э. Гиббон («Упадок и разрушение...», XXV), в свою очередь цитирующий в ряде мест Аммиана Марцеллина («Деяния», XXX, 2). (прим. Б. Дубин)

<sup>38</sup> «О Граде Божиим» (лат.).

<sup>39</sup> «Civitas Dei» (413–426) – трактат Аврелия Августина; полемику со взглядами Платона на природу времени («Государство», кн. X) Августин ведет в XIII главе двенадцатой книги этого трактата. (прим. Б. Дубин)

<sup>40</sup> Колесо и Змея – символы неизбывной бесконечности, почитавшиеся в гностицизме (сектой офитов и др.); для христиан – атрибуты язычества и сатанинства. (прим. Б. Дубин)

<sup>41</sup> «О седьмой любви Бога, или О вечности» (лат.).

<sup>42</sup> ...об упадке оракулов... – Этот диалог Плутарха не раз упоминает Т. Браун («Religio medici», I, 29; «Pseudodoxia epidemica», VII, 12). (прим. Б. Дубин)

эти «него»<sup>43</sup>, и «autem»<sup>44</sup>, и «nequamquam»<sup>45</sup> умеряли раздражение, помогали забыть о неприязни. Он строил длинные, запутанные периоды, загроможденные вставными предложениями, в которых небрежность слога и солесизмы были как бы выражением презрения. Неблагозвучность он сделал своим орудием. Предвидя, что Иоанн Паннонский будет сокрушать ануляров в пророчески-торжественном тоне, Аврелиан, дабы избежать сходства, избрал тон издевки. Августин писал, что Иисус – это прямой путь<sup>46</sup>, спасающий нас от кругов лабиринта, в коем блуждают безбожники: Аврелиан, как старательный ученик, сравнил их с Иксионом, с печенью Прометея, с Сизифом, с фиванским царем, увидевшим два солнца<sup>47</sup>, с заиканием, с белкой, с зеркалом, с эхом, с мулами у норрии<sup>48</sup> и с двурогими силлогизмами. (Языческие легенды все еще жили, низведенные до уровня стилистических украшений.) Подобно всякому владельцу библиотеки, Аврелиан чувствовал вину, что не знает ее всю; это противоречивое чувство побудило его воспользоваться многими книгами, как бы таившими упрек в невнимании. Так, он сумел вставить пассаж из «De principiis»<sup>49</sup> Оригена<sup>50</sup>, опровергающий мнение, будто Иуда Искарот снова предаст Господа, а Павел будет в Иерусалиме<sup>51</sup> снова присутствовать при мученической гибели Стефана, и еще другой пассаж из «Academica priora»<sup>52</sup> Цицерона<sup>53</sup>, где высмеяны люди, воображающие, будто в то время, когда он беседует с Лукуллом, бесконечное множество других Лукуллов и других Цицеронов говорят в точности то же самое в бесчисленных мирах, подобных нашему. Вдобавок Аврелиан обрушил на монотонный упомянутый текст Плутарха и свое негодование по поводу того, что, мол, на язычника *lumen naturae*<sup>54</sup> оказал большее действие, чем на них слово Божье. Труд этот занял у него девять дней, а на десятый ему вручили перевод опровержения, сочиненного Иоанном Паннонским.

Оно было почти смехотворно кратким – Аврелиан взглянул на него с презрением, а затем со страхом. В первой части содержалось толкование заключительных стихов девятой главы Послания к евреям<sup>55</sup>, где сказано, что Иисус не приносил себя в жертву многократно от начала мира, но совершил это однажды к концу веков. Во второй части было приведено библейское упоминание о тщетном многословии язычников (Мф 6: 7) и то место из седьмой книги Плиния, где говорится, что во всей вселенной не найти двух одинаковых лиц. Точно так же, заявлял Иоанн Паннонский, не найти и двух одинаковых душ, и самый гнусный грешник столь же драгоценен, как кровь, ради него пролитая Иисусом Христом. Поступок одного человека, утверждал он, имеет больше веса, чем все девять концентрических небес, и воображать, будто

<sup>43</sup> Отрицаю (лат.).

<sup>44</sup> С другой стороны (лат.).

<sup>45</sup> Никоим образом (лат.).

<sup>46</sup> ...Иисус – это прямой путь... – Соединение двух цитат из трактата Августина (XII, 17 и XII, 20). (прим. Б. Дубин)

<sup>47</sup> ...фиванским царем, увидевшим два солнца... – Имеется в виду Пенфей, наказанный Дионисом за то, что пытался противодействовать его культу (см.: Еврипид, «Вакханки», эпизодий IV; Вергилий, «Энеида», IV, 469–470). (прим. Б. Дубин)

<sup>48</sup> Нория – колодезное колесо с черпаками в испанских деревнях. (прим. Б. Дубин)

<sup>49</sup> «О началах» (лат.).

<sup>50</sup> ...пассаж... Оригена... – См. трактат «О началах» (I, VII, 4; II, III, 4 и др.), где взглядам Эпикура противопоставлен тезис о свободе души самостоятельно избирать добро или зло, разрывая этим заклыйтый круг предопределения. Для ересиологического сюжета рассказа важно, что к этим воззрениям, в VI в. признанным еретическими, предельно близки канонизированные впоследствии взгляды Августина («О Граде Божиим», кн. XII, гл. 1). (прим. Б. Дубин)

<sup>51</sup> ...Павел будет в Иерусалиме... – Деян 7: 58. (прим. Б. Дубин)

<sup>52</sup> «Первые Академики» (лат.).

<sup>53</sup> ...пассаж... Цицерона... – «Первые Академики» (II, XVII, а также XXVI и XL), где в ходе спора между Лукуллом и Катуллом приводится мнение Антиоха Аскалонского, утверждающего множественность миров и повторение в них каждого события, включая, соответственно, и сам настоящий диалог. Этот пассаж Борхес обсуждал в эссе «Циклическое время». (прим. Б. Дубин)

<sup>54</sup> Свет природы (лат.).

<sup>55</sup> Послание к евреям – новозаветный текст, приписываемый традицией апостолу Павлу, который, до своего обращения в христианство именуясь Савлом, присутствовал при истязании Стефана (см. выше). (прим. Б. Дубин)



он может исчезнуть, а потом возникнуть снова, — значит проявить вопиющее легкомыслие. Время не восстанавливает то, что мы утратили: вечность хранит это для райского блаженства, но также для огня адова. Трактат был написан ясно и всеобъемлюще — казалось, он сочинен не конкретной личностью, но как бы «всяким человеком» или — быть может — всем человечеством.

Аврелиан испытал острое, почти физическое чувство унижения. Ему захотелось уничтожить или переделать свой труд, но затем, движимый обозленной честностью, он отправил его в Рим, не изменив ни одной буквы. Несколько месяцев спустя, когда собрался Пергамский собор, опровергнуть заблуждения монотонов поручили (как и следовало ожидать) Иоанну Паннонскому; его ученого, сдержанного по тону опровержения оказалось достаточно, чтобы ересиарха Эвфорбия осудили на сожжение<sup>56</sup>. «Это уже происходило и произойдет снова, — сказал Евфорбий<sup>57</sup>. — Вы возжигаете не костер, но огненный лабиринт. Если бы здесь соединились все костры, на которые я восходил, они не уместились бы на земле и ангелы ослепли бы. И это я говорил неоднократно». Потом он стал кричать, потому что огонь добрался до него.

Колесо пало, побежденное Крестом<sup>58</sup>, однако Аврелиан и Иоанн продолжали свою тайную войну. Оба сражались в одном и том же стане, оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за которым не таилось бы безотчетного стремления превзойти Иоанна. Его страдания оставались невидимы — если тексты меня не обманывают, имя «другого» ни разу не *появляется* во многих томах Аврелиана, собранных в «Патрологии» Миня. (От сочинений Иоанна дошли всего-навсего двадцать слов.) Оба не одобряли анафем, провозглашенных вторым Константинопольским собором<sup>59</sup>, оба осуждали ариан, отрицавших божественную сущность Сына, оба подтверждали ортодоксальность «Христианской топографии»<sup>60</sup> Космы, который учит, что Земля, подобно еврейской скинии, имеет форму четырехугольника. На беду, во всех четырех углах Земли объявилась другая, бурно ширившаяся ересь. Родившись в Египте или Азии (свидетельства тут расходятся, и Буссе не желает принять доводы Гарнака<sup>61</sup>), она заразила восточные провинции и воздвигла свои капища в Македонии, в Карфагене и в Трире. Казалось, она свирепствует повсеместно, — говорили, что в Британском епископстве перевернули распятия вверх ногами, а в Цезарее образ Господа заменили зеркалом. Эмблемами новых схизматиков были зеркало и обол.

Истории они известны под разными именами (спекуляры, абисмалы, каиниты<sup>62</sup>), но самым общепринятым было гистрионы, данное им Аврелианом и дерзостно ими подхваченное. Во Фригии их называли «симулякры», так же и в Дардании. Иоанн Дамаскин<sup>63</sup> именовал их

<sup>56</sup> ...осудили на сожжение... — Вообще-то, первые свидетельства о предании еретиков огню восходят в Европе лишь к XI в. (прим. Б. Дубин)

<sup>57</sup> *Эвфорбий*. — Как передает Диоген Лаэртский («О жизни, учениях и изречениях...», VIII, 4–5), Пифагор вспоминал, что был когда-то рыбаком Пирром, а до этого — троянским воином Эвфорбом. (прим. Б. Дубин)

<sup>58</sup> В рунических крестах переплетены и сочетаются оба враждебных символа. *Рунический крест* — крест с расширяющимися к концам перекладинами, вписанный в круг; описанию разновидностей креста и истолкованию их символики посвящена первая глава книги Т. Брауна «Сад Кира». (прим. Б. Дубин)

<sup>59</sup> *Второй Константинопольский собор* был созван в 533 г. (прим. Б. Дубин)

<sup>60</sup> «Христианская топография» (535) — популярный трактат об устройстве мира византийского путешественника Космы Индикоплевста (Индикоплова). (прим. Б. Дубин)

<sup>61</sup> *Адольф фон Гарнак* (1851–1930) — немецкий историк религии и церкви; сюжетный ход новеллы — «догмат в историческом развитии всегда пожирает своих творцов» — не раз воспроизводится в его фундаментальной «Истории догматов» (например, «Введение», 7 и др.). Гарнак отстаивал идею эллинистического происхождения гностицизма, связывая его с Египтом; Буссе полемизировал с ним, считая гностическую мысль ориентализацией христианства, и обнаруживал ее истоки в Сирии. (прим. Б. Дубин)

<sup>62</sup> *Каиниты*. — Об этой секте сообщает Тертуллиан («Опровержение ересей», XXXIII). (прим. Б. Дубин)

<sup>63</sup> *Иоанн Дамаскин*. — Среди ста сект, упоминаемых им в трактате «О ересях», упоминаемой в рассказе нет (впрочем, на апокрифичность ссылки в тексте указано); о «формах» или «образах» Дамаскин писал, имея в виду символическое представление божественной природы на иконах или в тварных существах, людях. (прим. Б. Дубин)

«формы» – тут следует заметить, что этот пассаж не признан Эрфьордом. Нет такого ересоведа, который бы с изумлением не сообщал об их чудовищных обычаях. Многие гистрионы проповедовали аскетизм – некоторые увечили себя, подобно Оригену, другие жили под землею, в клоаках, иные вырывали себе глаза; иные (навуходоносоры из Нитрии) «ели траву, как волю, и волосы выросли у них, как у орла»<sup>64</sup>. От умерщвления плоти и самоистязания они нередко переходили к преступлению, в некоторых общинах процветало воровство, в иных убийство, в иных содомия, кровосмешение и скотоложство. Все они были богохульники, поносили не только христианского Бога, но даже таинственных богов своего пантеона. Они сочиняли священные книги, утрату которых оплакивают ученые. Сэр Томас Браун<sup>65</sup> писал около 1658 года: «Время уничтожило горделивые гистрионические Евангелия, но не Оскорбления, коим было подвергнуто их Нечестие»; Эрфьорд предположил, что эти «оскорбления» (сохранившиеся в одном греческом кодексе) – они-то и суть утерянные Евангелия. Это кажется непонятным, если не знать космологию гистрионов.

В герметических книгах сказано: то, что есть внизу, подобно тому, что есть вверху, а то, что есть вверху, подобно тому, что есть внизу; в «Зогаре» говорится, что мир нижний – это отражение мира верхнего. Гистрионы основывали свое учение на извращении этой мысли. Они ссылались на Матфея 6: 12 («Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») и 11: 12 («Царство небесное силой берется») в доказательство того, что земля воздействует на небо, и еще приводили цитату из Первого послания Коринфянам 13: 12 («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло») как подтверждение того, что все нами видимое – ложь. Возможно, под влиянием монотонов они полагали, будто всякий человек – это два человека и истинный из них – тот, другой, на небе. Также воображали они, что наши поступки отбрасывают неистребимое обратное отражение, – стало быть, если мы бодрствуем, тот, другой, спит; если блудим, другой целомудрен; если грабим, другой честен. После смерти мы соединимся с ним и будем им. (Какой-то отголосок этих учений есть у Блуа.) Другие гистрионы считали, что миру придет конец, когда исчерпается число его возможностей, и, поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить (то есть совершить) наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова. Это положение отрицали другие секты, утверждавшие, что в каждом человеке должна совершиться история всего мира. Большинству, как Пифагору, надлежит пройти через переселение в многие тела, прежде чем они получают освобождение; другие, протеики, «за срок одной жизни суть львы, драконы, кабаны, вода и дерево». Демосфен сообщает об очищении грязью<sup>66</sup>, которому подвергали посвящаемых в орфические мистерии; подобно этому протеики искали очищения злом. Они полагали, как Карпократ, что никто не выйдет из темницы, пока не отдаст последней полушки (Лк 12: 59), и обычно обольщали кающихся еще другим стихом: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели с избытком» (Ин 10: 10). Говорили они также, что не быть злодеем – сатанинская гордыня... Множество разноречивых мифологий придумали гистрионы: одни призывали к аскетизму, другие к распутству, и все – смущали умы. Феопомп, гистрион из Береники, отрицал все легенды: он утверждал, что всякий человек – это орган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир<sup>67</sup>.

<sup>64</sup> ...«ели траву, как волю...» – Измененная цитата из ветхозаветной книги пророка Даниила (4: 29–30), где она описывает вавилонского царя Навуходоносора. (прим. Б. Дубин)

<sup>65</sup> ...Томас Браун писал... – Цитата представляет собой мистификацию. (прим. Б. Дубин)

<sup>66</sup> ...об очищении грязью... – Об этом обряде приверженцев восточных культов Демосфен упоминает в речи «За Ктесифонта о венке». (прим. Б. Дубин)

<sup>67</sup> ...всякий человек – это о'рган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир. – Этой формулой Лейбниц в переписке с С. Кларком характеризует мировоззрение Ньютона; тем самым в спор между героями новеллы входит еще и полемика Лейбница с Ньютоном. (прим. Б. Дубин)

Еретики Аврелианова диоцеза принадлежали к тем, которые заявляли, что повторений во времени не бывает, а не к тем, которые утверждали, что всякий поступок отражается в небесах. Это обстоятельство было необычным, и в одном докладе римским властям Аврелиан о нем упомянул. Прелат, которому отправлял он это донесение, был духовником императрицы; все знали, что трудная его должность была сопряжена с запретом предаваться интимным радостям спекулятивного богословия. Но секретарь прелата – прежде коллега Иоанна Паннонского, ныне с ним враждовавший, – имел славу дотошного исследователя ересей; Аврелиан к докладу добавил изложение гистрионической ереси, встречавшейся в маленьких монастырях Генуи и Аквилеи. Написав несколько абзацев, он собирался изложить ужасный тезис, что нет двух одинаковых мгновений, и тут перо его остановилось. Он не мог найти нужную формулировку. Поучения новой ереси («Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели? Посмотри на луну. Хочешь услышать то, что уши не слышали? Послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека? Потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир») были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа. И вдруг в уме его возникло предложение из двадцати слов. Он радостно его записал, и тотчас же его кольнуло подозрение, что формулировка эта – не его. На другой день он вспомнил, что прочитал ее много лет назад в «*Adversus annulares*»<sup>68</sup>, трактате Иоанна Паннонского. Он проверил цитату – да, она была там. Аврелианом овладели мучительные колебания. Изменить или убрать эти слова означало бы ослабить выразительность; оставить их будет плагиатом у ненавистного ему человека; указать источник будет доносом. Он воззвал к небесам. Под вечер следующего дня его ангел-хранитель продиктовал компромиссное решение. Аврелиан те слова сохранил, но сопроводил их таким предувещанием: «То, о чем ныне брешут ересиархи, дабы смутить веру, сказал в нашем веке некий ученейший муж, более по недомыслию, нежели из греховности». Потом случилось то, чего он опасался, чего ждал, чего нельзя было предотвратить. Аврелиану пришлось открыть, кто этот муж. Иоанн Паннонский был обвинен в приверженности к ереси.

Четыре месяца спустя кузнец с Авентина, обольщенный лживыми уверениями гистрионов, взвалил на плечи своему маленькому сыну огромный железный шар, чтобы его двойник взлетел ввысь. Ребенок погиб. Ужас, вызванный этим преступлением, обязал судей Иоанна к неукоснительной строгости. Тот не пожелал отречься от своих слов и повторял, что отрицание его мнения ведет к губительной ереси монотонов. Он не понимал (или не хотел понимать), что говорить о монотонах бессмысленно – о них давно забыли. С упрямством, отчасти старческим, он щедро приводил наиболее блестящие периоды из прежнего своего полемического труда, но судьи даже не слушали того, чем некогда восхищались. Иоанну следовало постараться очистить себя от малейшего подозрения в гистрионизме, а он доказывал, что мысль, за которую его обвиняют, строго ортодоксальна. Он спорил с людьми, от решения которых зависела его судьба, и еще допустил величайшую оплошность – спорил с блеском и иронией. Двадцать шестого октября, после обсуждения, длившегося три дня и три ночи, его приговорили к смерти на костре.

Аврелиан присутствовал при казни<sup>69</sup> – отказаться означало бы признать себя виновным. Местом казни был холм, на зеленой вершине которого стоял глубоко вкопанный в землю столб, обложенный охапками дров. Чиновник прочитал решение трибунала. Под лучами полуденного солнца Иоанн Паннонский лежал лицом в пыли, издавая звериный вой. Он цеплялся за землю, но палачи схватили его, раздели и наконец привязали к столбу. На голову ему надели пропитанный серой венок из соломы, к груди привязали экземпляр зловерной книжицы «*Adversus*

<sup>68</sup> «Против ануляров» (лат.).

<sup>69</sup> Аврелиан присутствовал при казни... – Комментаторы (Р. Борельо) проводят параллели между этой сценой и описанием казни Мигеля Сервета (Борхес упоминает о ней в эссе «Искусство оскорбления») у Менендеса Пелайо в его книге «Испанские ересиархи». (прим. Б. Дубин)

annulares». Накануне ночью прошел дождь, дрова горели плохо. Иоанн Паннонский молился по-гречески, потом на незнакомом языке. Пламя костра уже обволакивало его, когда Аврелиан решился поднять глаза. Огненные языки на миг замерли – Аврелиан в первый и последний раз увидел лицо ненавистного человека. Оно ему напомнило кого-то, но он не мог сообразить кого. Потом огонь закрыл все, потом тот кричал, и казалось, будто кричит сам костер.

Плутарх сообщает, что Юлий Цезарь оплакивал гибель Помпея<sup>70</sup>. Аврелиан гибели Иоанна не оплакивал, но почувствовал то, что чувствует человек, исцелившийся от неизлечимой болезни, ставшей частью его жизни. В Аквилее, в Эфесе, в Македонии провел он долгую череду лет. Он устремлялся к неприветливым границам империи, в глухие болота и отшельнические пустыни, дабы одиночество помогло ему постигнуть его жребий. Как-то в мавританском шатре среди ночи, гремевшей львиным рыком, он перебирал в уме сложное обвинение, предъявленное Иоанну Паннонскому, и в энный раз соглашался с приговором. Однако оправдать свой лицемерный донос было труднее. В Русаддире он произнес теперь уже неуместную проповедь «Светоч светочей, возженный в плоти отступника». В Гибернии<sup>71</sup>, в келье окруженного лесами монастыря, когда ночь близилась к рассвету, он вдруг услышал шум дождя. Ему вспомнилась римская ночь, в которую он так же внезапно услышал дробный шум капель. В полдень молния зажгла деревья, и Аврелиан смог умереть той же смертью, что Иоанн.

Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в Царстве Небесном, где времени не существует. Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского. Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в Божественном разуме. Вернее будет сказать по-иному: в раю Аврелиан узнал, что для непостижимого божества он и Иоанн Паннонский (ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и жертва) были одной и той же личностью.

<sup>70</sup> ...Цезарь оплакивал... Помпея... – Убийство Помпея было услугой Цезарю, однако тот, порассказу Плутарха («Цезарь», 48), пролил слезы, когда ему поднесли голову убитого соперника. (прим. Б. Дубин)

<sup>71</sup> Гиберния – античное название нынешней Ирландии. (прим. Б. Дубин)

## История воина и пленницы<sup>72</sup> *Перевод Б. Дубина*

*Ульрике фон Кюльман*<sup>73</sup>

На 278-й странице своей «Поэзии» (Бари, 1942) Кроче, конспектируя латинский текст историка Павла Диакона, рассказывает о судьбе и приводит эпитафию некоего Дроктульфта; и то и другое странно тронуло меня, почему – я догадался позже. Воин из племени лангобардов, Дроктульфт при осаде Равенны оставил своих и погиб, обороняя город, который перед тем штурмовал. Равенны погребли его в одном из храмов и сложили эпитафию, засвидетельствовав свою признательность («contempsit caros, dum nos amat, ille, parentes»)<sup>74</sup> и поразительное несоответствие между кровожадным лицом этого варвара и его простосердечием и добротой:

Terribilis visu facies, sed mente benignus,  
Longaque robusto pectores barba fuit!<sup>75</sup>

Такова история жизни Дроктульфта – варвара, погибшего, защищая Римскую империю: точнее, такова часть этой истории, которую сумел выручить у времени Павел Диакон. Неизвестно даже, когда это все произошло: то ли в середине шестого века, когда лангобарды опустошали поля Италии, то ли в восьмом, перед падением Равенны. Представим себе (я ведь пишу не исторический труд) первое.

Представим Дроктульфта *sub specie aeternitatis*<sup>76</sup> – не самого по себе, конечно же, единственного и непостижимого (как любой), а обобщенный тип, в который его и тысячи ему подобных превратило предание, – труд памяти и забвения. Сквозь темную географию чащ и топей война привела его с берегов Дуная и Эльбы в Италию, а он, вероятно, и не знал, что идет на юг и сражается против римского владычества. Он мог быть из ариан<sup>77</sup>, верующих, будто слава Сына – лишь отсвет славы Отца, но скорее ему подойдет образ поклонника Земли, Эрты<sup>78</sup>, чей закутанный истукан возят от бивака к биваку в телеге, запряженной быками, или божеств войны и грозы, неповоротливых деревянных идолов, облаченных в ткань и увешанных монетами и кольцами. Он явился из непроглядных чащ кабана и зубра, был светловолос, храбр, просто-душен, беспощаден и признавал не какую-то вселенную, а своего вождя и свое племя. Война привела его в Равенну, где он увидел то, чего никогда не видел раньше или видел, но не замечал. Он увидел свет, кипарисы и мрамор. Увидел строй целого – разнообразие без сумятицы; увидел город в живом единстве его статуй, храмов, садов, зданий, ступеней, чаш, капителей, очерченных и распаханых пространств. Его – я уверен – потрясла не красота увиденного;

---

<sup>72</sup> В 1989 г. франко-аргентинский кинорежиссер (и исследователь борхесовских взаимоотношений с кино) Эдгардо Козаринский снял по мотивам новеллы фильм «Воины и пленницы». (прим. Б. Дубин)

<sup>73</sup> Ульрика фон Кюльман – приятельница и корреспондентка Борхеса 40-х гг., позднее переехала в США; упомянута также в рассказе «Вторая смерть». (прим. Б. Дубин)

<sup>74</sup> Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными (лат.).

<sup>75</sup> Эти стихи приводит и Гиббон («Decline and Fall», XLV – «Упадок и разрушение» (англ.)). Лицом ужасен он был, но благожелателен духом, с долгой своей бородой, павшей на мощную грудь (лат.).

<sup>76</sup> С точки зрения вечности (лат.).

<sup>77</sup> Ариане. – Поскольку сторонников Ария как еретиков ссылали на окраины Римской империи, многие варварские племена были приобщены к христианству именно еретиками; к тому же провинции оказывались куда меньше затронуты христологическими спорами и с запозданием откликались на запреты церковных соборов. (прим. Б. Дубин)

<sup>78</sup> Эрта (Нертус) – германская богиня-мать, воплощение плодородия; о ней сообщает Тацит («Германия», XL), ей посвящен гимн Ч. А. Суинберна («Песни перед восходом»). (прим. Б. Дубин)

оно поразило его, как нас сегодня поражают сложнейшие механизмы, чьего назначения мы не понимаем, но в чьем устройстве чувствуем бессмертный разум. Может быть, ему хватило одной-единственной арки с неведомой надписью вечными римскими литерами. И тут его вдруг ослепило и снова вернуло к жизни откровение по имени Город. Он понял, что будет тут хуже последней собаки или несмышленного малолетки, что не приблизится к разгадке даже на шаг, но понял и другое: этот город сильнее его богов, верности вождю и всех топей Германии. И тогда Дроктульфт покидает своих и переходит на сторону Равенны. Он гибнет, а на его надгробии выбивают слова, которые он, скорее всего, не сумел бы прочесть:

Contempsit caros, dum nos amat, ille, parentes,  
Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam<sup>79</sup>.

Он был не предателем (предатели обычно не удостоиваются благоговейных эпитафий), а прозревшим, новообращенным. Через несколько поколений те же клеймившие было перебежчика лангобарды вступили на его путь и стали итальянцами, ломбардцами, и, может быть, один из его кровников по имени Альдигер дал начало тем, кто дал потом начало Алигьери... О поступке Дроктульфта можно строить разные предположения; мое, пожалуй, самое простое, и если оно неточно как факт, то, может быть, подойдет как символ.

Прочитанная у Кроче история воина странно тронула меня: я почувствовал под незнакомой оболочкой что-то свое, близкое. Мелькнула мысль о монгольских всадниках, думавших обратить Китай в гигантское пастбище, а потом состарившихся в городах, которые хотели стереть с лица земли; но я искал в памяти другое. И наконец нашел: это был рассказ, услышанный однажды от бабушки-англичанки, теперь уже покойной.

В 1872 году мой дед Борхес отвечал за границу на северо-западе провинции Буэнос-Айрес и юге Санта-Фе. Командный пункт располагался в Хунине; дальше, лигах в четырех-пяти друг от друга, цепью тянулись заставы, а еще дальше простиралась так называемая Пампа, или Внутренние Территории. Как-то, удивляясь и шутя разом, бабушка заговорила о судьбе, забросившей ее, англичанку, на этот край света; ей ответили, что она здесь такая не одна, а месяц-другой спустя показали индианку, не спеша пересекавшую площадь. Она была в двух пестрых накидках и босиком; волосы отливали золотом. Один из солдат передал, что с ней хочет поговорить другая англичанка; та согласилась и вошла в комендатуру без страха, но насторожась. На медном, грубыми красками расписанном лице голубели глаза того выгоревшего оттенка, который англичане зовут серым. У легкой, как лань, женщины руки были сильные, ширококостые. Она явилась из дремучей глуши, с Внутренних Территорий, и все – двери, стены, меблировка – казалось ей слишком маленьким.

<sup>79</sup> Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными, Новой отчизной своей нашу Равенну признав (*лат.*).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.